

почти собрание сочинений



Игорь Карагузов

Война не будет длиться вечно

автобиография • стихи • проза

Почти Собрание Сочинений

Игорь Караулов

Война не будет длиться вечно

«Издательство АСТ»

2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Караулов И. А.

Война не будет длиться вечно / И. А. Караулов — «Издательство АСТ», 2025 — (Почти Собрание Сочинений)

ISBN 978-5-17-178286-3

Мне нравятся несколько современных поэтов. Несколько поэтов из них мне нравятся очень сильно. Но только карауловская речь мне кажется безупречной в каждой строчке. Караулов — это для меня такая поэтическая мера весов. Быть может, у него не все стихи классические (но классических слишком много для живого человека), однако он всегда пишет с удручающей безупречностью. Это как Мандельштам читать: где том ни открой — везде слишком хорошо. ...а прозу какую пишет Караулов? Я бы через прозу Караулова ещё больше полюбил его стихи — если б я и так не считал уже, что его поэзия — одна из наивысших точек развития русского языка. По сути, Караулов стал народным поэтом. Стал заступником народа и голосом его. И если народ этот голос не сразу, может быть, в полной мере распознал (хотя я видел, какие овации срывает Караулов в огромных аудиториях, слушающих его стихи), так то не беда. И у народа, и у поэзии Караулова — времени полно.
Захар Прилепин

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-178286-3

© Караулов И. А., 2025
© Издательство АСТ, 2025

Содержание

Несколько слов о себе	6
Избранное	15
Из книги «Упорство маньяка» (1999–2009)	15
Сараево	15
«Жизнь просто пройдёт по Остоженке...»	17
Вослед Олейникову	17
Гамлет	18
«Летний вечер с лицом китаёза...»	18
«Поколение дворников и сторожей...»	20
«Под этим небом цвета военной стали...»	20
«Ах, если бы наши дети однажды стали дружны...»	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Игорь Караулов

Война не будет длиться вечно

© Игорь Караулов, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Несколько слов о себе

Сочинителем я стал летним утром 1970 года, в возрасте четырёх лет, на поляне напротив дома номер 5 по улице Пушкина в подмосковном посёлке Малаховка. Моя семья каждое лето снимала там дачу. Улица Пушкина была хороша тем, что лишь одну её сторону занимали дома, а вторая сторона выходила на опушку леса.

В то лето мы жили в доме номер 9, а в пятом доме жила девочка, которая мне очень нравилась, и нравилась потом ещё лет восемь. Её звали Лена, она мечтала стать балериной, у неё была типичная семья из массовой интеллигенции, как в мультфильмах про Простоквашино. Я, прирождённый жаворонок, вскочил в то утро слишком рано и подошёл к зелёной калитке с канонической, но не очень правдивой надписью «Осторожно, злая собака», когда Лена, её мама и папа ещё и не думали просыпаться. Я бродил на солнышке, слушая гудки электричек, и вдруг у меня в голове появились строки. Это были строки сразу и о поездах, и о Лене, как-то эти темы там переплелись. Так появилось стихотворение.

Оно было нерифмованным, поскольку я тогда не знал понятия рифмы. Я его не записал, потому что не умел писать. Но я чётко осознавал: это – стихотворение. Следующее я придумал и записал уже через три года, оно было о празднике 7 Ноября и там были строки: «Вот идёт машина с флагом на кабине. / Видно, перевыполнила план эта машина». Словом, начало не обещало многого – но с тех пор стихи стали появляться более-менее регулярно.

Малаховка имела репутацию посёлка еврейского – может быть, именно поэтому моя бабушка выбрала его в качестве нашей летней базы. В Малаховке происходило столько всего, что какие-то моменты тамошней жизни ещё долго появлялись в моих стихах. Это сосны с толстыми корнями, которые перегораживали тропинки; о них можно было запросто споткнуться, упасть, после чего колено покрывалось кровяной икрой. Это любимые луговые цветы – зверобой и львиный зев, и нелюбимые злаки, на пыльцу которых у меня развилась противная сопливая аллергия – тимофеевка и овсяница. Это охота на кузнечиков, бабочек и стрекоз. Это велосипед «Ветерок», у которого время от времени слетала цепь, и мы шли его чинить на станцию, к бородатому дяде Яше, с которым моя бабушка украдкой говорила на идиш. Это сыроежки, из которых в тазу с солёной водой выползали червячки, и перезревшие дождевики, которые дымились, когда на них наступаешь ногой. Это кролики, которых разводил в клетках хозяин нашей дачи; однажды он взял меня прокатиться на мотоцикле с коляской. Это турник с привязанным к нему резиновым шлангом, на котором я по глупости чуть не повесился в те же четыре года. Это берёзовая роща, начинавшаяся за редкими стройными соснами, а за ней – Коренёвский лес, где, по слухам, нашли отрезанную голову пропавшей девочки. И это «Всадник без головы» – первый фильм, который я посмотрел в кинотеатре (он назывался «Союз» и находился по ту сторону от железной дороги). И это шатурские пожары 1972 года – стена дыма на горизонте, раскалённые деревянные скамейки и десятки прекрасных траурниц, слетавшихся в тень яблонь, где на земле гнили падшие райские яблочки. Собственно, почти вся моя биография – это несколько летних сезонов в Малаховке, всё остальное – уточнения, примечания.

Да, перед тем как придумать первое стихотворение, я должен был родиться. Я сделал это 11 февраля 1966 года в роддоме на Щипке, жил в Стремянном переулке на углу Большой Серпуховской, которую все называли просто Серпуховкой. В сквер возле завода Ильича, где подслеповатая Каплан стреляла в вождя, меня водили гулять. Ещё дальше, на Павловской улице, была детская поликлиника, а южнее неё для меня тогда земли не было.

На западе от Серпуховки – тоже мои места. В Морозовской больнице мне удаляли аденоиды, на Шаболовке работала моя мама, на Донском лежит мой отец. В эту сторону можно было пойти даже до парка Горького. Первого мая, когда парк открывался, мы шли туда с мамой, тёткой Маргаритой и двоюродными сёстрами, Татьяной и Ольгой, и по дороге мама покупала

мне мороженое; я предпочитал самое дешёвое, ягодное в картонном стаканчике по 7 копеек. Теперь это, кажется, называется «сорбет».

К северу от Садового кольца находится классическое Замоскворечье драматурга Островского, с купеческими особняками и церквями. Есть соблазн сказать, что это тоже мой район. Не совсем так. Я всегда понимал, что я живу за чертой. Я и в Третьяковке в то время ни разу не был. Правда, во втором классе я ходил в современный особняк на Полянке, где размещался Дом пионеров, в кружок авиамоделирования. Увы, ни одна модель моя не взлетела, я продолжал клепать нелетающих уродцев из ватмана, в то время как мои товарищи по кружку уже всюду запускали фанерные самолёты с моторчиками. А потом я просто взял и бросил туда ходить.

Нет, моим районом было другое Замоскворечье – как его назвать? Внешнее, дальнее? На восток от нашего дома по переулку, мимо Пионерских улиц, в то время застроенных какими-то деревянными домами, которые взрослые называли «трущобами», можно было дойти до Павелецкого вокзала. Перед вокзалом, на углу Дубининской, была библиотека, куда я ходил лет с восьми; брал я у них почти исключительно фантастику, перечитал её столько, что до сих пор смотреть на неё не могу. Внимательно обыскивал полки с фантастикой и каждый раз обязательно находил какие-то свежие поступления. Помню только одну нефантастическую книгу, которую я взял там и прочитал, «Пепел Бикини», но её автором, как на грех, был Аркадий Стругацкий.

Впрочем, и за Павелецким я тоже бывал, меня водили на Водоотводный канал к ортодонту, исправлять прикус пластинками (так и не исправили). А по дороге к ортодонту был киоск «Союзпечати», и через этот киоск я пристрастился к собиранию марок. Страсть советского школьника к филателии тогда удовлетворяли в основном две страны, Куба и Монголия. Слова «Монгол Шуудан» – «Почта Монголии» – были настолько популярны, что даже стали названием рок-группы. Впрочем, кубинские марки мне нравились больше. В этом киоске я однажды купил серию из шести марок с рыбами и расстроился, когда увидел, что у одной был оторван уголок. На этой марке была рыба дорадо – настолько экзотическая, думал я, что её наверняка не едят.

Мы, то есть я, мама и бабушка, жили на третьем этаже доходного дома, построенного в 1892 году, при царе-батюшке Александре III. Автор проекта, Иван Терентьевич Владимиров, умер в 37 лет через два года после его постройки, но успел выстроить в нашем районе ещё одно, более известное здание – Гурьевскую богадельню, из которой потом вырос Институт Вишневского.

Хотя я тогда не считал наш дом чем-то особенным. Простенький жёлтый фасад. Тёмный подъезд, который на питерский манер называли «парадным», потому что с площадки между первым и вторым, где покуривали «хулиганы» и из потолка торчали обгорелые спички, был выход на чёрную лестницу, которая вела во двор. По этой лестнице я выходил гулять в наш каменный мешок и мог часами чеканить резиновый мяч об стену.

Квартира номер 23, нам звонить – два звонка, потому что коммуналка. Но не как у Высоцкого, «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». И не «система коридорная», а прямоугольный холл, двери из которого вели в три комнаты, по одной на семью.

В самой большой, 22 квадратных метра, жили сионисты Додик и Фира. Фиру я видел чаще, она больше бывала на кухне. Угловатая женщина, сносившая попреки в неряшливости в основном молча, хотя порой и её прорывало. Они очень хотели уехать в Израиль, к ним иногда приходили в гости другие сионисты и они допоздна слушали на магнитофоне сионистские песни. Они не давали мне спать, и я не очень любил сионизм. У них погибла дочь, попала под машину, и от этого они ещё острее ненавидели эту страну и ещё больше хотели в Израиль.

Была маленькая узкая комната, в которой обитала пожилая пара; его звали Иван, как звали её, не помню. Я иногда туда заходил и помню затхлый стариковский запах. Дядя Ваня вскоре умер, и тогда я впервые увидел крышку гроба, она стояла у нас в коридоре. Зачем там

была эта крышка? Они выносили его в гробу прямо из тесной комнаты? Видимо, взрослые не разрешили мне досмотреть эту сцену до конца, поэтому от дяди Вани у меня в памяти осталось не тело его, не суета с выносом домовины, а помазок, стоявший на кухне рядом с бутылкой из-под итальянского вермута Moroni, с которой соседи ходили в гастроном за подсолнечным маслом. Он брился на кухне, за столом, стоявшим в дальнем углу от газовой плиты. В противоположном углу был стол сионистов, а наш стол находился посередине, между двумя окнами кухни, пол которой был покрыт широкими досками, крашенными коричневой краской.

Мы жили в комнате чуть поменьше, чем у Фиры и Додика. Что было в этой комнате? Платяной шкаф, стоящий не вплотную к стене, так что за ним была своего рода кладовка, где хранились бельё, раскладушка на случай гостей и искусственная ёлка на Новый год. Сервант, трюмо с зеркалом, швейная машинка «Зингер», радиола «Ригонда» на ножках, горшок с алоэ, две кровати, для мамы и для бабушки, и раскладное кресло-кровать с жёсткими красными квадратными подушками, на котором спал я; утром оно накрывалось колючим зелёным ковриком, а вечером раздвигалось с помощью хитрого механизма. Алоэ было растением полезным. Бабушка отламывала кусочек мясистого листа, выжимала сок и капала мне в нос от насморка, который был у меня почти всегда. Но после того, как я ложился спать, алоэ преображалось. В свете фонарей оно отбрасывало на стену и потолок ужасающую тень, которая меня пугала. Я не боялся рёва случайного ночного мотоцикла, не боялся куривших на лестнице «хулиганов». Моим страхом была тень от алоэ.

А где же в этой обстановке телевизор? Телевизор, чёрно-белый «Рекорд», появился позже. За XXIV съездом КПСС в марте 1971 года я ещё следил по радио; когда зачитывали приветствия от братских партий всего мира, среди них была телеграмма от коммунистов Аляски, и меня это так поразило, в такой восторг привело, что я побежал на кухню докладывать бабушке: «Нас даже Аляска поздравила!» И долго потом не мог успокоиться: надо же, Аляска...

В нашем доме было три этажа, если смотреть со стороны улицы. Но на самом деле был и четвёртый, заметный только со двора. Там жила тётя Вера, грузная старая брюнетка. Так вот, у неё был телевизор КВН. Я бывал у неё и смотрел на этом крошечном экране, 14 на 10 см, всё, что там показывали, в том числе и ту самую передачу КВН, которая была названа в честь телевизора. К экрану было принято приставлять большую линзу, наполненную водой или глицерином, для увеличения изображения, и она там была, но почему-то всегда стояла не перед экраном, а на полу, у стенки. Налито в неё ничего не было. Тётя Вера была больна, ходила на костылях и у неё в квартире всегда пахло лекарствами. Я даже не знаю, зачем я к ней вообще ходил, и не отследил момент, когда она умерла. Видимо, уже после того, как у нас появилось собственное окошко в мир и старый КВН стал мне неинтересен.

Потом сионисты всё-таки уехали; я впервые зашёл в пустую комнату, которую они оставили после себя. На полу были разбросаны какие-то бумаги, фотокарточки; помню, я сидел на полу в колготках и копался в этом добре, мне тогда было года три. Много позже мама мне сказала, что там была порнография.

В комнату, освобождённую от сионистов, въехала весёлая русская женщина Наташа с двумя детьми, Васей и Галей. У тётя Наташи была химия на голове, она работала на заводе. Тётя Наташа тоже давала жару. До нас она жила в заводской общаге. Однажды она позвонила в райком партии и заявила, что если ей не дадут жильё, то она выйдет с плакатом к американскому посольству и расскажет западным журналистам, как у нас в стране относятся к рабочему классу. Советской власти пришлось отступить и дать ей комнату. Моя бабушка была лояльнее, она как жена погибшего на войне писала лично Брежневу. Когда её старания увенчались успехом, и мы переехали в отдельную квартиру в Тёплый Стан, тётя Наташа смогла забрать себе и нашу комнату. Выходит, в практическом смысле она была поумнее.

Как в эту обстановку попала моя семья?

Моя бабушка Полина Львовна родилась в самом начале прошлого века в посёлке Новки под Витебском. Это был рабочий посёлок при стекольном заводе, основанном одним еврейским предпринимателем. Для управления заводом он выписал своих земляков или даже родственников, кажется, из Черниговской области, в том числе моего прадеда, который работал в заводской лавке. Новки известны как место последнего еврейского погрома гражданской войны. Банда пришла в посёлок в день зарплаты, так что по сути это было массовое убийство с целью ограбления, без нарочитой этнической подоплёки. Бабушка со своей матерью спрятались в подполе, бандиты увели прадеда и вместе с прочей администрацией завода расстреляли в ближайшем лесу. Ну, а куда моей родне было идти после этого? Пошли в Москву.

В Москве бабушка вышла замуж за Исаака Липкина, тоже приезжего; он заведовал швейной артелью, жили они близ Домниковки, в Докучаевом переулке. Потом всю артель посадили за троцкизм, а бабушка с маленьким ребёнком, моей будущей матерью, переехала на Стремянный.

В Москву мой дед так и не вернулся, обосновался в Каменск-Шахтинском, был там директором швейной фабрики, нашёл себе другую женщину, с которой моя бабушка, как ни странно, дружила; у меня хранится ворох поздравительных телеграмм, подписанных «бабушка Юля». Дед не очень долго прожил, умер в 1957 году.

Моя бабушка тоже нашла себе другого мужчину, русского по фамилии Дмитриев. Он погиб на фронте, где-то под Ленинградом, но успел стать отцом моей тётки Маргариты.

Моя мама, Галина Исааковна (сама она произносила своё отчество как Исаевна, так звучало чуть более по-русски), после войны окончила пединститут, несколько лет преподавала русский язык в Бузулуке, в целинном краю, потом вернулась в Москву, где работала сначала в спецшколе с изучением хинди и урду, а потом – и до конца жизни – во вспомогательном интернате номер 108; думаю, она перешла туда, потому что там больше платили: с умственно-отсталыми работать тяжело.

Теперь мне кажется моим и то время, когда я вот-вот должен был появиться, и то время, когда я уже был, но не мог ничего понять, и то время, о котором я уже что-то помню. 1961 год, когда полетел Гагарин – это ещё не моё время. А вот 1964-й – уже моё.

Это, наверное, из-за Люси. Моя сестра Люся умерла от лейкемии в 1964 году. Она вряд ли успела что-то понять на этом свете, ей было года четыре. У меня больше её младенческих фото, чем моих собственных. Если судить по ним, то Люся была туповатым ребёнком. Если бы она осталась жить, то не появился бы я. Вряд ли мама решилась бы на второго; по меркам того времени и Люся была поздним ребёнком: когда она родилась, маме было 32. Это уже была вторая её попытка, первый ребёнок сразу родился мёртвым и никакого имени не получил.

Вторая подряд неудача разрушила брак матери, от неё ушёл тот самый Караулов, фамилию которого я ношу. Он был мелколицый и востроносый, не тот типаж, в который я хотел бы пойти. Но исчезновение мужа не заставило мою мать отказаться от идеи вырастить ребёнка. И появился замысел меня. Оставалось ждать, пока в игру вступит хоть какой-нибудь отец.

Мой отец лежит на Донском. Он умер, его сожгли. Я никогда не видел его могилу. Но я и живым его ни разу не видел. Такой возможности он мне не предоставил, а искать его... я был слишком застенчив для этого. Я думал: у него своя семья, благополучная, порядочная, дом – полная чаша, и тут заявляюсь я. Бастард, о котором принято молчать.

Если бы я знал, что на момент рождения он не был женат и никому не мог изменять, зачиная меня с моей матерью. Он уже был к тому времени в разводе, а потом женился ещё раз, и его вторую жену Инну я однажды видел, мы с мамой шли на какой-то концерт, и она там тоже была. А потом отец женился в третий раз и лет через шесть лет умер, не дожив до 54.

То есть его законные дети были по отношению к нему примерно в том же положении, что и я. Он сбежал от первой жены, когда моей старшей сестре было два года, а когда моей младшей сестре было пять, он и вовсе ушёл из жизни, ушёл от всех женщин, детей, коллег. Но

даже если бы я всё это знал, я бы поленился его искать, я как-то привык жить без него. Да и времени у меня было немного: мне было шестнадцать, когда его не стало.

Личность моего отца не имеет прямого отношения к моей биографии, поскольку не оказала на меня никакого влияния. Подробности о нём разузнала моя старшая дочь, когда мне было уже за пятьдесят. Она и познакомила меня с моими сёстрами, Ириной и Ядвигой. Моего отца звали Александр Александрович Норейко, на момент моего зачатия он был директором интерната, в котором работала моя мама.

Он прожил жизнь под фамилией своей матери, польско-литовской красавицы, она была врачом и не дожила до шестидесяти. А отцом его был Александр Давидович Сабельфельд, родом из Екатериненштадта, ныне город Маркс. Он был офицером НКВД, служил в охране Кремля, его посадили в конце тридцатых, потом выпустили и с началом войны сослали как поволжского немца в окрестности Томска. Там он, как и другой мой дед, завёл в ссылке новую семью, да так и остался в Сибири.

Мой отец хотел стать военным, поэтому и взял фамилию матери, надеясь сойти за украинца. Поступил в военное училище, но сомнительное происхождение со временем раскрылось. Из училища его выгнали, поэтому ему пришлось поступить в педагогический и стать дефектологом. Вот в процессе такого исторического билльярда и столкнулись на какое-то время мои мама и папа.

Мои сёстры думают, что я обижаюсь на отца, и надеются, что я со временем его прощу. Но у меня никогда не было обиды, я не могу сказать, что мне его не хватало. Я вырос не в аномальной, а в довольно типичной семье: бабушка, мама и я. Многие из моих сверстников жили в таких же семьях: мальчикам в них было попроще, как мне кажется, а девочкам посложнее. Если бы у меня в детстве перед глазами был пример семьи, в которой был отец и которая по этой причине была счастливее, веселее, свободнее, то я бы, пожалуй, на своего отца обиделся. Конечно, такие семьи были, но только не вокруг меня. У моих кузин был отец, и что с того? Это был пролетарий по фамилии Морозов, он их бил и бил их мать, мою тётку Маргариту, и все они были счастливы, когда он от них свалил. У моей троюродной сестры Светланы был отец, я его помню, они тоже снимали дачу в Малаховке, и он кормил нас щучьей икрой во дворе, в тени садовых деревьев. Не знаю, был ли он хорошим отцом; со временем Светлана выросла в мужиковатую девушку, которая всем своим видом показывала, что в жизни ей не на кого надеяться, кроме самой себя.

Проблема моя была не в том, что в моей жизни не присутствовал этот конкретный отец, а в том, что не нашлось ни одного взрослого мужчины, которому было бы интересно моё воспитание. Кстати, почему отец-то решил не иметь ко мне никакого отношения? Сёстры говорят так: он посмотрел на меня и подумал, что перед ним ребёнок с особенностями развития. А он понимал в этом толк, он был на тот момент директором вспомогательной школы-интерната. То есть у меня тут нет оснований ему не доверять. Теперь, сопоставляя какие-то вещи, я понимаю, что особенности развития у меня были. Наверное, они до конца так и не исчезли, просто развитие давно закончилось.

Думаю, отца не волновало, что вот этот конкретный ребёнок будет расти безотцовщиной. Он всю жизнь работал с детьми, у которых не было родителей, ведь именно от таких детей отказывались и таких детей прежде всего зачисляли в дебилы. Им он был нужнее. А у меня всё же была семья.

Я не думаю, что моя мама любила моего отца. Мне кажется, она просто выбрала самого умного мужчину в своём окружении. Он сделал своё дело и больше этим проектом не занимался. Тут он был в своём праве.

Я не помню, чтобы у моей мамы бывали другие мужчины. Было время, когда за ней ухаживал грузин по имени Карло. Там, конечно, ничего серьёзного не получилось; могу вообразить, насколько нелепой казалась моей матери идея выйти замуж за грузина. Я этого Карло не

застал, знаю о нём понаслышке, но с его подачи к нам стали ездить его тбилисские приятели, которым надо было где-то остановиться в Москве. Мы, конечно, жили втроём на двадцати метрах, но московского гостеприимства это не отменяло. Когда приезжали гости, бабушка ложилась на раскладушку, а гостя или даже двух можно было положить на бабушкин диван, за сорок лет службы насквозь проеденный клопами, над которым висел один из самых характерных элементов бытовой культуры того времени – гобелен с оленем.

Чаще всего к нам навещался дядя Валико. Его дары были всегда просты: грузинский чай, пахнувший какой-то прелью, и ворох лавровых листьев. Ни варенья, ни аджики, ни чурчхелы. Это был бедный и честный грузин, стройный, с густыми седеющими усами, пропахшими табаком. Он работал машинистом поезда «Тбилиси – Москва». И вот что интересно: лет в шесть-семь, когда все дети вокруг мечтали стать космонавтами, я бредил железной дорогой. Причём не игрушечной, производства ГДР, на которую у нас просто не было денег, а настоящей. Придя на собеседование в школу перед тем, как меня зачислили в первый класс, я с жаром рассказывал учительнице о том, что пройдёт ещё два, от силы три года, и я проложу прямо к воротам школы железнодорожную ветку. Может быть, это было влияние дяди Валико, но вот что странно: он ведь совсем не рассказывал мне о своей работе, я просто знал, кем он работает. Неужели я ухватился за первого попавшегося мужчину, инстинктивно признав его авторитет? Хотя совсем недавно я узнал, что мой двоюродный дедушка Сигизмунд Сильвестрович был в Ленинграде великим учёным в области путей сообщения. Так что, может быть, это была странная игра генов.

Я был несадовский ребёнок. Правда, одно время бабушка пыталась водить меня в детский сад куда-то на Строченовский переулок. Говорят, этот этап необходимо пройти ради социализации, дескать, несадовским детям потом сложнее в школе. Но там мне были совсем неинтересны дети, не помню, чтобы я с ними общался, зато там были целые ящики игрушек. Особенно мне была интересна одна машинка, но всякий раз, когда мне приходило в голову поиграть с ней, она была занята каким-то другим ребёнком, а стоять в очереди у меня терпения не хватало. Однажды я уговорил бабушку отправиться туда пораньше, к самому открытию садика, и мы шли в темноте, по хрусткому снегу, над перекрёстком одиноко мигал светофор. Я пришёл самым первым, вцепился в вожденную машинку, но минут через двадцать она мне надоела, и я отдал её какой-то девочке. К счастью, вскоре детский сад в моей жизни кончился.

А вот школа – это совсем другое дело. Свою первую школу я если не любил, то по крайней мере переносил безболезненно. Вообще-то меня сначала хотели отдать в престижную английскую школу в районе Добрынинской площади, но там строго спросили: а ваш ребёнок часто болеет? Болел я очень часто. Во время последней школьной диспансеризации я посчитал по медицинской карте, что за все чудесные годы с первого по десятый класс мне вызывали врача на дом 74 раза. А до школы всё было ещё хуже. Поэтому от идеи изучать с малых лет иностранный язык пришлось отказаться. Так я попал в школу с запоминающимся номером 555. Она была совсем близко от дома, за сквериком, обсаженным жёсткими кустарниками и уставленным тяжёлыми чугунными скамейками и урнами.

Школа со страшной судьбой. Уже когда я уехал из этого района, ей на какое-то время повезло, она стала школой при Плехановском институте. А потом, уже в новом веке, что-то случилось, и она была брошена в одно мгновение, с мебелью, учебниками и стендами, где хранились спортивные кубки. Стала притоном бездомных и наркоманов. В конце концов её пожалили и снесли, сейчас на её месте стоит огромный белоснежный корпус РЭУ им. Плеханова.

Мою первую учительницу звали Лидия Александровна. В школе я сразу стал одним из двух лучших учеников; наравне со мной шёл мелкий чёрненький Дима Дмитриади. Но дружил я больше всего с мальчиком, который учился хуже всего. Мы были похожи. Его звали Андрей, но ведь и меня мама сначала хотела назвать Андреем. Он тоже носил очки и тоже жил в коммуналке с еврейской бабушкой. Но только он был умственно-отсталый. Эсфирь Соломоновна

стала одним из первых читателей моих стихов. Гораздо позже, когда нам было по 18, Андрея приняли за меня на похоронах моей матери.

Я ходил к ним в гости, на праздники и просто так. Они жили в конструктивистском доме с пристроенным лифтом, во дворе за гастрономом, который называли «Ильичёвским». (А напротив «Ильичёвского» был магазин по прозвищу «Арсеньевский», в честь переулка, который незадолго до моего рождения переименовали в улицу Павла Андреева.) На праздниках у них собирались еврейские родственники и знакомые, которые ели фаршированную рыбу, обсуждали, кто из звёзд кино и эстрады «наш», и переходили на шёпот, произнося слово «раввин».

В этом доме жил ещё один мой одноклассник, Миша Нечипорук. Он был румяный и добродушный и любил бороться, но без злости. Ещё одного нашего мальчика все звали почтительно: Алексей Николаевич Косыгин, и каким-то образом он в свои девять-десять лет был похож на тогдашнего престарелого главу правительства. Он жил в домике с деревянным вторым этажом у трамвайных путей и, в отличие от меня, собирал марки всерьёз. У него были и английские марки с королевой, и нацистские. Как-то я у него выменял марку британского владения Антигуа с солдатиком в красном мундире.

В третьем классе, весной, моим любимым предметом в первый и последний раз стала физкультура: нас отправили учиться плавать в бассейн «Москва». А это означало – поездки каждую неделю на метро в компании одноклассников, без взрослых. Кроме двух пятакчиков на проезд, мне ещё выдавали 20 копеек на эскимо. И, между прочим, тогда я выучился плавать довольно неплохо.

Однажды мы вышли из бассейна, поднялись на Волхонку и услышали траурную музыку. По улице на лафете везли тело маршала Гречко, покойного министра обороны. Вскоре из магазинов исчезла гречневая крупа, и в народе появилась поговорка: «Был Гречко – была гречка. Умер Гречко – пропала гречка».

Я не очень расстраивался, когда мы уехали из Замоскворечья в Тёплый Стан. Отдельная квартира, в которой у меня появилась своя комната. Новый дом, ещё пахнувший свежей краской и штукатуркой, не заселённый до конца. Почти год жизни без телефона. Свалка бетонных плит во дворе вместо детской площадки. И – лес, начинающийся прямо за домом.

Вместо Малаховки меня стали отправлять в пионерлагерь. Я туда ездил вместе с маминими учениками-олигофренами и не могу сказать о них ничего плохого, дети как дети.

Я обязан вспомнить пионервожатую Надю. Она узнала о том, что я пишу стихи, и попросила написать стихотворение в честь фестиваля молодёжи и студентов, который вот-вот должен был открыться на Кубе (это был 1978 год). Я это стихотворение придумал, и мы его послали в «Пионерскую правду». И в день открытия фестиваля газета вышла с моим стихотворением. В 12 лет – публикация в центральной прессе!

После этого меня ещё раз опубликовали в «Пионерке», а на третий раз забраковали – сказали, недостаточно искренне написано.

Школа на новом месте мне нравилась меньше, я там ни с кем не подружился, кроме троючника Кости Шулепова, который жил в нашем доме. Впрочем, главные радости ждали меня за пределами школы.

Когда мне было 13, мама решила, что мне не хватает физического развития, и отвела записываться в секцию лёгкой атлетики Дворца пионеров на Ленинских горах. Выполнив эту формальность, чтобы ни разу уже в этой секции не появиться, я попутно записался в кружок юных поэтов. Таких кружков во дворце было два. Одним руководила и по сей день известная Зинаида Николаевна Новлянская, там вдохновенно читали Лорку, пели, взявшись за руки, Окуджаву, оттуда вышли такие видные иноагенты, как Дмитрий Быков и Александр Архангельский. Но я был в другом кружке, его вела поэтесса Татьяна Андреевна Никологорская. Мне до сих пор трудно поверить, что было ей тогда всего 26. Внешне скорее не строгая, но

серьёзная, из вологодских староверов. Вот с ней мы изучали совсем другой репертуар. Нет, она не оставила нас без Пастернака и Мандельштама, читала нам наизусть стихи Набокова про теннис, но главными у неё были Сергей Есенин, Ксения Некрасова, Михаил Пришвин, Николай Рубцов, Василий Шукшин. Из живых на тот момент поэтов – Давид Самойлов, Юрий Кузнецов, Владимир Соколов, Василий Казанцев. А о Володе Полетаеве, погибшем в 19 лет, в то время я и не мог бы узнать ни от кого, кроме Т. А., которая с ним дружила в юности. Что же касается Евтушенко, Вознесенского и Рождественского, то мы сразу условились, что таких поэтов не существует. Я и не спорил, мне они с самого начала не понравились.

Мои надежды на немедленный успех в этом кружке были преждевременны: на первом же обсуждении Т. А. меня разгромила, высмеяла и посоветовала больше стихов не писать. Я, тем не менее, упорствовал, через некоторое время начал писать что-то более интересное и приобрёл уважение кружковцев, которое ещё больше укрепилось, когда я победил конкурсе с огромным трактатом о Сократе и Христе.

Моим главным приятелем в кружке был Серёжа Илюшенко, мальчик из очень хорошей семьи. После занятий я стал часто заглядывать к нему домой, благо жил он на полпути между дворцом и метро. Их квартира была непохожа на нашу: множество книг, в том числе антикварных, а ещё иконы, альбомы по искусству. Его отец был одним из видных прихожан о. Александра Меня и сыграл свою роль в моей жизни: от него я впервые получил Евангелие. Отец был хорошо знаком с Солженицыным, Галичем. Мы слушали записи Галича, сделанные в этой самой квартире. Ещё мы с Серёжей много хулиганили – например, во время советских предвыборных кампаний очищали от наглядной агитации целые кварталы, били стеклянные стенды, срывали красные флаги. Слава богу, нас ни разу не поймали.

Помимо поэзии, второй стороной моей жизни стала география. В конце седьмого класса я поступил в Школу юных географов при МГУ. Зачем мне это было нужно?

Во-первых, я хотел учиться в МГУ, причём желательно на самом вершине главного здания, где и находился географический факультет. Во-вторых, мне захотелось себя изменить, уж слишком я был домашним мальчиком. А здесь всё-таки была жизнь, больше похожая на настоящую. Здесь нужно копать почвенные разрезы; целый день ходить по полям на лыжах, беря пробы снега; делать наброски в полевой книжке, отбиваясь от комаров. И, разумеется, ставить палатки, разводить костёр, варить кашу с тушёнкой...

В общем, в 1983 году я поступил на геофак, учился на кафедре геохимии ландшафтов и географии почв и ни секунды не жалею о полученном образовании, хотя, по сути, так и не работал по специальности. Это было образование неглубокое, но очень широкое, и в моих стихах до сих пор встречаются обрывки тех знаний и того опыта.

В 1986 году я попал в поэтическую студию Ольги Чугай. Мне кажется, важно помнить об этом человеке. Для «взрослых» поэтов она вела «Лабораторию первой книги» в ЦДЛ, где блистал ярче всех Иван Жданов и где бывали, к примеру, угрюмый верлибрист Арво Метс и жизнерадостный верлибрист Ян Шанли, который в годы реформ стал торговать мясом, а как поэт куда-то потерялся. А с двадцатилетними она занималась в разных местах, например, в библиотеке имени Светлова на Садовом кольце. В центре внимания там был Филипп Николаев – первый юный гений, открытый Ольгой Олеговной; с него-то и началась студия. Был Денис Новиков, который уже к 19 годам написал нечто стоящее, включая стихотворение «Чукоккала». Заходили Виталий Пуханов и Константин Кравцов, известные ныне поэты. Была Анастасия Харитоновна, талантливая девушка, которая впоследствии покончила с собой. И была Юлия Доленко, которая в стихах, по мнению самой Ольги Чугай, запросто удельвала их всех. Очень скоро она стала моей женой.

После получения диплома (этот момент почти совпал с рождением моей первой дочери Галины) я три с лишним года работал советским «инженером 1-й категории», то есть околачивал груши на рабочем месте и периодически ездил в библиотеку читать перестроечную прессу.

Сначала я делал это в отделе радиационной безопасности НИКИЭТ (этот институт разработал реакторы чернобыльского типа), а потом в совсем уж неказистой конторе «Востокмебель», в особняке, где позже разместилось грузинское посольство. Перед самым концом этого трудового разврата я от нечего делать поступил на заочное отделение Литинститута, на семинар Евгения Винокурова, но проучился там всего один семестр.

Должен сказать спасибо банде Гайдара – Чубайса. Благодаря их радикальным реформам я вынужден был искать настоящую работу, на которой надо пахать. И в первый же месяц 1992 года я стал обозревателем экологической газеты «Спасение». Платили там тоже немного, но впахивать приходилось. На эту работу меня взял бывший муж хорошей подруги моей наставницы Татьяны Андреевны, и я горжусь, что работал с этим человеком – сначала в «Спасении», а потом в «Народной газете». Это был Михаил Бекетов, который позже боролся за Химкинский лес и отдал жизнь за правду.

Все 90-е годы я стихов не писал, не до этого было. Убегал от нищеты, потом стал заниматься переводами и научился зарабатывать, растил одну дочь, затем, в 1998 году, родилась вторая дочь, Софья. А стихи вернулись, когда в жизни появился интернет. Сначала я его страшно боялся и использовал только для работы, но в один прекрасный момент обнаружил, что в Сети есть литературные сообщества, где можно просто взять и вывесить свои тексты. Так я понял, что у меня в принципе может быть аудитория, а значит, надо попробовать что-то написать. В 2000 году меня впервые опубликовали в Сети (был такой сайт «Салон», которым командовала Галина Анни), затем я стал заглядывать в сетевой поэтический клуб «Лимб», в ЛИТО имени Стерна (это был ресурс Александра Житинского), и, наконец, меня заметил Дмитрий Быков, с которым мы подружились на 14 лет.

Дальше потянулась литературная жизнь, которая оказалась довольно рутинной: выступления в клубах, библиотеках и т. п., поездки на фестивали, регулярные публикации в толстых журналах, издание книг раз в три года. В 2008 году две недели провёл в Америке, в 2009 году участвовал в Венецианской биеннале. В 2011 году занял одно из призовых мест в Григорьевской премии, которой руководил Виктор Топоров; в последующие годы я был в этой премии и номинатором, и членом жюри, и координатором. С подачи Топорова я с конца 2012 года стал писать в «Известия» и вот уже 13 лет занимаюсь публицистикой.

В 2014 году я радовался тому, что Крым наш, всей душой болел за Донбасс, был потрясён трагедией 2 мая в Одессе и по этому поводу получил множество проклятий от коллег по поэтическому цеху. В числе этих коллег был и Быков. Зато на одном из эфиров Первого канала ко мне подошёл человек и протянул руку. Это был Захар Прилепин. Позже (в 2016 году) он включил мои стихи в сборник «Я – израненная земля», и это было предвестием того нового литературного контекста, в котором я нахожусь с февраля 2022 года.

Избранное

Из книги «Упорство маньяка» (1999–2009)

Сараево

На небе есть царапина —
Лазурная дыра.
Мне в той дыре Сараево
Привиделось вчера.

Я слышал песенку одну
В дорожном кабаке
На непонятном, но родном,
Славянском языке.

Кто затащил меня туда,
В каком похмельном сне?
Махорка, жирная еда —
Все это не по мне.

Метались девки вверх и вниз
В истерзанном белье,
А на эстраде пел на бис
Безумный шансонье.

Он был не стар, но лысоват,
С губами в пол-лица.
Он каблуками рисовал,
Манжетами бряцал.

Он извивался, как гюрза,
Как дикий зверь, хрипел.
Внезапно скатывался за
Глотком вина – и пел

На простенький, на пошленький,
На шустренький мотив:
«Сараево, Сараево,
Сараево – прости!»

Он преломлял и отражал
Фасетками зрачка
Победный гогот горожан
И горечь шашлыка,

Чесночный дух, табачный чад,
Щеки продажной пыл —
И я запомнил все подряд,
А музыку – забыл.

Она везде со мной была,
Ревнуя к портмоне.
Она вино со мной пила,
И морщилась на дне.

Она взвивалась до высот,
Как камень из пращи,
Но дзынь – и кончилась, и вот
Ищи её – свищи.

И оттого-то сердце мне
Опутала печаль.
Не жалко мне эрцгерцога
И принципов не жаль.

Не жаль ни принцев, ни солдат —
Их нарожает свет,
А жалко только музыку,
Которой с нами нет.

Теперь, последнее звено
Из рода неумех,
Я – тень её. Мне суждено
И велено за всех

Тех, кто пригубил на пятак
И кто свалился с ног,
Тех, кто за деньги и за так
В сырую землю лёг,

Твердить с улыбкой фраера
Глухой речитатив:
«Сараево, Сараево,
Сараево – прости!»

Зачем, какую манну мне
Вымаливать у птах
Губами деревянными
На майских холодах?

Перебинтован марлей туч
Лазоревый порез.
И это – только первое,

Чего нам ждать с небес.

«Жизнь просто пройдёт по Остоженке...»

Жизнь просто пройдёт по Остоженке,
До Обыденского угла,
И цветочница в тёртой кожанке
Не подскажет, где та прошла.

Эта жизнь пройдёт незамеченной
Мимо нищего, и мента,
И печальной гулящей женщины
С сигареткой в изломе рта.

Облекаясь листвой, афишами,
Повернёт на площадь, тиха,
И таксиста рожок обиженный
Троекратно даст петуха.

Я же, взглядом минуя вывески
И шатучих лесов настил,
Подивлюсь, как Илья Обыденский
Паруса свои распустил,

Как бушприта его сияние
Достигает надземных вод,
Как в зарницах ликують здания,
И не жалко, что жизнь пройдёт,

Что прорежется нотой альтовой
И до самых Тверских Ворот
Этот коврик свернёт асфальтовый
И с собой его унесёт.

Вослед Олейникову

Ещё рыдает фисгармония
Лесов, взметённых на попа,
Но поселилась дисгармония
В скорлупке серого клопа.

Он выбирается из трубочки
Листа, где был его постой,
Как трезвый Флинт из тесной рубочки
Перед ревущей широтой.

За ним – осин кривые вытачки,
Ночного холода напасть,
А перед ним на тонкой ниточке —
Весь мир, который должен пасть.

Ползёт, ползёт, кольцо бензольное,
Терцинной желчи торжество,
И почва нищая, подзольная
Дрожит под лапками его.

Гамлет

Мне олово в губы и в ухо свинец,
Мне сердце свела иглокожесть,
И я помираю, как Гамлет-отец,
В саду на скамеечке ёжась.

Оставьте, цикады, уйми, саранча,
Свои маникюрные пилки.
На мне рубероид с чужого плеча
И в темя втыкаются вилки.

Механики сцены ещё на пути,
И ветви звенят номерками,
И рыбная спинка лежит на кости,
И трубы не пыжатся в яме.

А я помираю, как Гамлет-старик,
Микробом в пустом балахоне.
Не знаю, явлюсь ли хотя бы на миг
На вашей дощатой ладони.

Родные никак не приходят за мной,
Но гоголем, но Фортинбрасом
Идёт победивший, идёт заводной,
Весёлый искусственный разум.

«Летний вечер с лицом китаёза...»

Летний вечер с лицом китаёза,
Расставанья медлительный жар.
Наши встречи – высокая проза,
Только я не люблю этот жанр.

Я не жалею Кафку и Пруста —
Жирный минус мне в эту графу,
Но до рези, до лобного хруста
Жадно вчитываюсь в Ду Фу.

Видишь, осень стоит на пороге,
Как повстанцы у наших столиц.
Я – чиновник на голой дороге,
Одуревший от скрипа ступиц.

Знаешь, нужно полжизни учиться,
Голодать, подниматься чуть свет,
Чтобы взять в собеседники птицу
И бамбука услышать совет.

Иероглифов пни и коряги
Корчевать, утопая в поту,
Чтоб на рисовой плотной бумаге
Беглой тушью прорвать немоту.

Ну, а толку-то? В масляной дымке,
Вместо глаз, удивлённых навек,
Ждут налоги, суды, недоимки,
Анонимки, доносы наверх.

И нетрудно за всей круговертью,
Как со сменщиком, в зябкую рань
Разминуться с любовью и смертью
По пути из Лишани в Фэнсянь.

Лишней косточкой бегать по счётам
И мотаться ольхой на ветру,
Вспоминая – да ладно, да что там! —
Домышляя, как сон поутру,

Этих линий графитовый шорох,
Полнолуния расслабленный свет,
Эти блёстки в твоих разговорах —
Словно плещется рыба в озёрах,
На которых следов наших нет.

Что ж, когда-то мы были большими
И с драконами дружбу вели,
А теперь – только полое имя,
Сыпь и перхоть на коже земли.

Ты наешься интригою праздной,
Я сбегу от тебя, невредим.
Императорской жёлтой и красной,

Гордой осенью – мы победим.

«Поколение дворников и сторожей...»

Поколение дворников и сторожей
До отвала наелось своих миражей,
Отмело, отплясало, отпело.
А мы – поколение ежей и ужей,
Мы любим конкретное дело.

Изготовить товар, заработать денег,
Одарить леденцами ежат и ужат
И с женой позабавиться плотью.
И пальцы с похмелья у нас не дрожат —
Сжимаются твёрдой щепотью.

В нас – муштра цеховая и мужество каст.
Упоительно знать, что никто не подаст,
И приветствовать небо скупое.
Меж веком и веком сереющий наст
Не хрустнет под нашей стопой.

Что ж, дивись, приживальщик прокуренных нор,
Как ловка моя вилка и нож мой остёр,
Как, припомнив былую породу,
В бокале, и в венах, и в ванне – на спор! —
Портвейн превращается в воду.

«Под этим небом цвета военной стали...»

Под этим небом цвета военной стали,
Вернее сказать – похмелья седого бурша,
О Господи, зачем ты меня оставил?
Пожалуйста, не делай этого больше.

Ты сбежал по лестнице, пахнувшей кислой снедью,
В оглашенный сад, оплетённый дождём по горло,
Как бутылка рейнского; тронутый мелкой медью
Райских яблочек – и сияющий ею гордо.

Ты скользишь за стволами, а я за окнами прею.
В прятках, в салках – боюсь, наш с тобою талант неравен.
Припускает ливень, и пресный огонь кипрея
Выжигает меж нами тропки от самых ставен.

Любимая совсем меня позабыла,
Не пришлёт под вечер ни пирогов, ни пышек.
Любимая, ты и вправду меня любила,
Или это блики в глазах от небесных вспышек?

Я возьмусь за ум, перестану сражаться в кости,
Куплю тебе зонтик с ручкой из кипариса,
Только ты ко мне не гнушайся хотя бы в гости
Приходить под прежней маской стыда и каприза.

Простите меня, члены гильдии, горожане,
Что я вас не вывел из плена, как мама-утка,
Не повис на древе, как память о баклажане,
И не исчез с концами на третье утро.

Я пойму, исправлюсь, я буду отменных правил,
Поршнем сырого ветра прочищу сердце.
Только вот, Господи, зря ты меня оставил —
Лучше оставь жестянщика по соседству.

«Ах, если бы наши дети однажды стали дружны...»

Ах, если бы наши дети однажды стали дружны,
Ловили друг друга в сети и вместе смотрели сны,
А мы бы, следя за ними небрежно, одним глазком,
Болтали про жизнь, про книги бесхитростным языком.

Есть у тебя два сына – в устах молоко и мёд.
А у меня – две девочки, и кто их тоску поймёт,
Когда у оконных петель гадают они, куда
Ведёт реактивный пепел сквозь ветви и провода?

Но ты проживаешь в Риме, в гудящем медном тазу,
Куда из своей провинции навряд ли я доползу.
Твоя высока веранда, в ограду закован сад.
Вишнёвой смолой джаз-банда тебя обдаёт закат.

Твой муж так умён, я знаю: Платон перед ним – осёл.
И я в низовьях Дуная отраду свою нашёл.
Нет, нам не терять рассудка, не прятать в шкафу скелет —
Порхающий бог-малютка для нас пожалел стилет.

Есть что-то сильнее любви, и это сближает нас.
Наверное, птичьей крови озноб в капиллярах глаз.
Наверное, резкий профиль – излом носовой кости.
Наверное, ливнем с кровель грохочущее «прости».

Нам день заполняет очи крылами своих химер,
А что остаётся к ночи? Вот – детушки, например.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.